

А. РЕМИЗОВ В ЛАТВИИ: РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ВИКТОРСА ЭГЛИТИСА

*Людмила Спроге, Вера Вавере*

Тема “Ремизов и зарубежная культура” освещалась по преимуществу в мемуаристике русской диаспоры, когда речь шла об интересе Томаса Манна,<sup>1</sup> Жана Полана, Марселя Арлана и др.<sup>2</sup> к оригинальной личности и литературному таланту русского писателя-эмигранта.

Менее учитываемая проблематика связей ремизовского творчества с локальной культурой (частично высвечиваемая, как правило, также в мемуарах, но иноязычных<sup>3</sup> становится самостоятельным предметом исследований лишь в последнее время.<sup>4</sup> Однако именно этот аспект современного ремизоведения, как нам представляется, обладает уникальной возможностью не только описать национальное своеобразие облика писателя, увиденного представителем другой культуры, но и постигнуть системность смены культурных ориентиров, динамику развития и кристалли-

<sup>1</sup> Даманская А. Ф. На экране моей памяти. “The New Review”. New York 1996, № 198-199, pp. 304-305.

<sup>2</sup> Шаховская З. А. В поисках Набокова. Отражения. Москва 1991, с. 126-128.

<sup>3</sup> Dambergs Valdemārs. Sarakstīšanās Edvartu Virzu un Viktoru Eglīti: Vēstules. Kopenhagenī, Imanta, MCMLIV; Dambergs Valdemārs. Zaļais rakstniecības koks: Arcerējumu krājums. Mulsjo (Zviedrija): A. Dravnieka grāmatu apgāds, 1947; Günther J. von. Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München. Erinnerungen. München 1969.

<sup>4</sup> См.: Спроге Л. В. А. М. Ремизов в Латвии: В. Дамбергс, В. Эглитс, В. Гусев, И. Павлов, В. Гадалин; Доценко С. Н. А. М. Ремизов в Эстонии: начало эмиграции // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Таллинн. Авенариус. 1996. Т. 2, с. 158-170; 171-196; Vāvere V., Sproģe L. Aleksejs Remizovs un latviešu rakstnieki // Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. A Daļa. 1996. S. 50. N. 4-5, Lpp. 22-28.

зации тех литературных процессов, которые привели к актуальности усвоения ремизовской проблематики “чужим” читательским сознанием в тот период первых двух десятилетий XX-го столетия, когда русский “Серебряный век” корреспондируется с началом латышского модернизма. Не претендуя на полноту описания широких и многоплановых ракурсов темы, вынесенной в заголовок, обратимся к наследию автора книги “Путь к Латышскому Ренессансу” (1914) – Викторсу Эглитису – одному из вдохновенных представителей модернистского течения в латышской культуре.

Писатель и художник Викторс Эглитис (1877-1945) родился в семье видземского крестьянина на хуторе Lejas Kauregi Сарканьской волости. После приходской школы в Лаздоне он с двенадцатилетнего возраста продолжает обучение в Витебском духовном училище и семинарии, а в 1899 году поступает в Пензе в Художественный институт, из которого через два года его исключили. По свидетельству близкого друга и мемуариста Валдемарса Дамбергса, “из-за открыто высказанных революционных взглядов по вопросам живописи и искусства ему вместе с 43-мя товарищами по убеждениям в октябре 1901 г. пришлось оставить институт. Этот пензенский период играл важную роль в образовании Эглитиса-художника, потому что здесь он встретился с[...] Мейерхольдом и Алексеем Ремизовым. А во-вторых, в это время, наблюдая за культурной жизнью России, он был свидетелем той борьбы, которую против реализма вели Мережковский, Дягилев и Бенуа”.<sup>5</sup>

В начале века Викторс Эглитис продолжает художественное образование в частной мастерской княгини Тенишевой и у И. Репина, именно на эти годы, вплоть до учебы на отделении классической филологии Дерптского университета (осень 1907-1913 гг.), приходится сближение с русскими поэтами в основном символистской ориентации (В. Брюсовым, Вяч. Ивановым и др.). Параллельно идет процесс реформации латышской литературы, Эглитис решительно выступает противником устоявшихся форм патриархального реализма и вокруг него начинают группироваться молодые латышские писатели и поэты, так называемые “декаденты” (Э. Вирза, К. Круза, П. Грузна, К. Екабсонс [Якабсонс] и др.), признающие высокую эрудицию своего метра и разделяющие с ним идею сближения латышской литературы с модернистскими тенденциями культурного процесса Европы.

После Пензы встречи Эглитиса с Ремизовым возобновляются к 1905-1906 гг., корреспонденции двух писателей появляются на страницах жур-

<sup>5</sup> Dambergs V. Zalais rakstniecības koks... Lpp. 71.

нала “Весы” в 1905 г.; ремизовские письма (без подписи) “Нам пишут из Киева”<sup>6</sup> освещали художественную жизнь “своеобразной Украины”, а в “Письме из Риги” Эглитиса представлен ряд фактологических справок из “всех областей искусства” с характеристикой общего социо-культурного фона окраин Российской метрополии: “В Финляндии культурные центры давно в руках финнов. Эстам также повезло. Явилась возможность проявить себя новым, искусственно подавленным, творческим силам. Но латыши своей большой Риги никак не осияют. А патронат немцев напоследок своих дней задался единой целью замолчать, деморализовать, выставить опасной нарастающую молодую культуру. Общее оживление коснулось всех областей искусства. Лед тронулся в живописи, музыке, литературе...”<sup>7</sup> Пожалуй, именно в письме Эглитиса впервые перед русским читателем был представлен компендиум тех новаций, которые уже в начале столетия репрезентируют самобытность развития латышской музыки, живописи и литературы, т. е. всего того, что автор “Письма из Риги” позднее осмыслит как культурологическую модель “нового искусства” в своей поэме “Pelēkais barons” (“Серый барон”).

В латышской периодике время от времени публиковались стихи, рассказы и этюды, генетически связанные с прозаическими и стихотворными опытами русских символистов. Когда говорится о генетической близости русских и латышских текстов, то менее всего здесь приходится думать о заимствовании или эпигонстве, – речь идет об общих типологических закономерностях развития европейского символизма. Стихотворные сборники латышского поэта изобилуют эпиграфами и прочими знаками “чужого текста”, так например, “русские” цитаты (от Пушкина до символистов) из сборника “Hippokrena. Jambī un lirika in modo classico” (1912) заслуживают особого внимания в постижении новаторства поэтики книги стихов, – задача, выходящая за рамки настоящей статьи.

Для Эглитиса, как и для Мережковского и проч. был притягателен свой ряд “вечных спутников” – Гете, Пушкин, Эдгар По, Ницше, Уайльд и др. – куда были включены также имена русских символистов, предпочтение из которых отдавалось Валерию Брюсову. В одноименном послании после пиететных восклицаний (“прекрасный”, “могучий”, “большой”, “изящный”) Эглитис декларирует важный тезис своей литературной самоидентификации: “но быть лишь эхом твоим, как другие, я не могу”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Весы 1905. № 1, 2, с. 82-83; 41-42.

<sup>7</sup> Весы 1905. № 7, с. 43-52.

<sup>8</sup> Eglīts V. Hippokrena. Jambī un lirika in modo classico. Rīgā 1912. Lpp. 95.

В одной из лирических манифестаций Эглитиса Брюсов “открывает” ряд “вечных спутников” поэта:

Man Brjusovs mīļš un tuvs bij sirdei  
 Un Edgars Po, vistumšais mags  
 [...]
 Es kādreiz mīlēju Uaildu  
 Kas bezdievīgs un sagiftēts,  
 Un baironiski lepno Čaildu,  
 Kas skalš kā jūras negaiss brēc.  
 [...]
 Bet mūžam cilvecei būs svēti,  
 Lūk - Šekspīrs, Ģete, Puškīns pat.<sup>9</sup>

И хотя имени Ремизова не было названо в этом раритетном ряду, именно он впервые предстал перед Эглитисом писателем новой эстетической формации, именно он становится для некоторых молодых латышских литераторов воплощением русской ментальности (“частицей России” назвал его В. Дамбергс).<sup>10</sup> Ремизовский облик так завораживал своим творческим артистизмом, что порожденные им мифотворческие представления воплотились в бытовые и литературные сюжеты переписки, мемуаров и художественных произведений латышских авторов.

Характерно, что в двух романах латышских писателей – В. Эглитиса и А. Аустриныша, – чей эстетический кодекс сформировался в начале XX века, представлен Ремизов; причем, можно говорить как о мифологизированной биографии писателя, так и о сложившемся мифе литературного Петербурга. Широкая фактография литературной жизни России, как видно, входила в задачу романистов.

Среди них – объединившиеся вокруг журнала “Dzelme” (Бездна) активные поборники “новой красоты” (по Мережковскому) – В. Эглитис, К. Екабсонс (Робертс Скарга), А. Аустриныш и П. Грузна, который в своем романе “Jaunā Strāva” (“Новое Течение” - 1946 г.) представил поездки своих литературных братьев в Москву и в Петербург как миссионерскую командировку от имени “дзелминиеков”. Центральный петербургский

<sup>9</sup> Eglīts V. Zeme un mūžība: Dzejoli. Rīgā 1924. Lpp. 149: “Мне Брюсов мил и близок сердцу был / И Эдгар По – маг мрака / Когда-то любил я отравы безбожника Уайльда / И байронически гордого Чайльда / Прогремевшего, как морская буря / Но вечно для человечества будут святы / Шекспир, Гете, Пушкин”.

<sup>10</sup> Dambergs V. Sarakstīšanās... Lpp.73.

локус его романа – знаменитая “башня” Вяч. Иванова – мифологизируется, также как и персонажи полночных бдений: здесь из самовара течет квас, звенит балалаечный оркестр и герой в ответ на поцелуй дамы в сером целует ее ушко, украшенное бриллиантом в тысячу рублей. Этим счастливец был небезызвестный поэт Екабсонс (по-ремизовски – Леший, напевший ему “Медвежью колыбельную” “Посолони”, которым он удивлял литературный Петербург). Грузна шаржировано представляет церемониал возведения латышского поэта в степень бакалавра декадентства, ритуал, пародирующий посвящение в масонскую ложу с возгласами “братьев”: “āksios, āksios, āksios!” – что, возможно, проецируется на обрядовость ремизовского Обезвельволпала с трехкратным повторением танцевальных поз и обезьяньих слов. Приключения бакалавра в Петербурге не обошлись без внимания самого святого старца Распутина, который после застольного чествования во дворце одного из великих князей выделил “тихого гостя” из сонма придворных обращением: “Tī molodčāga, miloi sukin sin, maķ tvojū tak!”.<sup>11</sup>

В романе Антонса Аустриньша “Garā jūdze” (“Длинная миля” – 1926 г.) тот же персонаж, прозванный Дейсонсом, рассказывает Айзбетниексу (alter ego автора) про свою встречу с Ремизовым и как тот угощал его бубликами, но убийственный рассказ о “башне” утаил, а на следующий день гость неожиданно уехал, не попрощавшись, оставив главного героя гадать, как же на самом деле обернулось большое гостеприимство.<sup>12</sup>

В. Эглитиса, также как и Екабсонса, ввел в элитарное общество петербургских салонов А. Ремизов. Свои встречи с Ремизовым, а также ответный визит четы Ремизовых в 1907 г. в Латвию, Эглитис широко отразил в воспоминаниях, дневниковых записях, письмах и во второй части трилогии “Skolotāja Kaleja piedzīvojumi” (“Приключения учителя Калейса”), романе “Nenovēršamie likteņi” (“Неотвратимые судьбы”, 1926 г.).

Сегодня роман В.Эглитиса является библиографической редкостью, с 1926-го года он в Латвии не переиздавался, на русский язык не переводился и прижизненной критикой был встречен прохладно.

В целом автобиографическая по характеру трилогия В. Эглитиса о жизни латышского провинциального учителя Калейса, впоследствии ставшего рижским литератором, создавалась с 1914 по 1934 гг. Автобиографизм ее главным образом не фактологический, – автору важнее отра-

<sup>11</sup> Gruzna Pāvils. Bursaki. Jaunā strāva. Rīga. Zinātne. 1992. Lpp.318-319.

<sup>12</sup> Austrīņš Antons. Garā jūdze: Romans-kronika. Pirmā daļa sākas piektā gadā. Rīgā 1926. Lpp.68-69.

жение внутренней жизни, логики складывания эстетических взглядов и мирозерцания своего героя, т. к. “Калейс больше всматривался в себя, чем вокруг”.

Действие первой части трилогии “Приключения учителя Калейса” (1914) разворачивается во время революции 1905 г. Герой постигает эпоху как индивидуалист, далекий от политических событий. Многие страницы романа преподнесены как интеллектуальный диспут.

Заключительная, третья часть трилогии “Мыслящая Рига” (1934) вводит в атмосферу творческих дискуссий в среде латышской интеллигенции; здесь действуют многие известные деятели латышской культуры. Большое внимание уделено религиозно-философским вопросам, которые решаются в свете попыток восстановить древнюю национальную религию по фольклорным материалам - диевтурибу.

Интересующая нас вторая часть “Неотвратимые судьбы” посвящена становлению эстетических и философских взглядов писателя и его героя в период после революции 1905-го г. Калейс отправляется в Российские столицы, чтобы ощутить себя “в широком мире и в самой сознательной культуре”, и оказывается то в редакции журнала “Весы”, то в салоне знаменитого миллионера и мецената Р. (Рябушинского); латышский литератор знакомится с В. Брюсовым и Ю. Балтрушайтисом, с художниками Феофилактовым и В. Серовым, с актрисой Германовой.

В романе персонажный уровень наиболее подвержен сращению бытовых реалий и мифологизированного облика того или иного писателя, художника, философа, мецената. Номинации персонажей способствуют созданию аллюзивного фона романа: Ремизов - Бубука;<sup>13</sup> Серафима Павловна - Ангелика Францевна; Вяч. Иванов - поэт-доцент; Н. Бердяев - Ставрогин; Л. Ю. Бердяева - олицетворение Лизы (Ставрогинской); Мережковский - Верховенский; К. Екабсонс - Росбакс и т. д. Иногда персонаж проецируется на несколько прототипов: молодой поэт - автор элегических симфоний, сын доктора математических наук, профессора Петербургского университета, племянник (крестник) философа Владимира Соловьева: А. Белый, А. Блок, Сергей Соловьев. В этой связи интересен факт передачи живой речи Эглитиса, полной артистизма и эмоциональной образности, какой она запомнилась его современникам во время знакомства в 1906 г.: “Очень живо и колоритно описывая каждого, он [т. е., Эглитис] рассказывал о самом Ремизове, Мережковском и его

<sup>13</sup> Возможно имя персонажа этимологически близко латышск. *Bubulis* - бука, пугало.

супруге, [...] о художниках Сомове, Добужинском, Феофилактине. Живое изображение каждого участника этого общества, например: Мережковский – железный генерал, Белый – светловолосый пламенный архангел, Сологуб – все испытавший скептик, Иванов – утонувший в мудрости прозорливец-праведник, Гиппиус – красивая, утонченная эстетка и т. д., – захватило нас. [...] По меньшей мере 2,5 часа без усталости и не проронивши ни слова, слушали мы рассказ В. Эглитиса”.<sup>14</sup>

Такой же художественностью отличаются письма Эглитиса к жене 1905-1906-го гг., которые можно с полным основанием считать “прото-текстом” некоторых глав “Неотвратимых судеб”: “17 февраля 1906 г. [...] Алексей Михайлович. Дугой согнувшись, улыбается, но уже не как вампир, а почти наивно. “Виктор Иванович, что с Вами сделалось! А я вас представлял совсем беленьким”. “Вы же, Алексей Михайлович, не изменились”. “Я крепок как пень. Прошу Вас. Не желаете ли рюмочку Индийского по случаю встречи?” “С удовольствием”. Выпили. “А вот позвольте Вам представить публициста Ангарского. Посмотрите “Золотое руно” и давайте беседовать”. Наговорились затаенно, глядя в упор, улыбаясь и радуясь. Слов немного сказали. “А Вы, Виктор Иванович, в моей судьбе сыграли большую роль. Я ведь по Вашему рецепту зажил. Закулисы бросил, стал откровенен и внешне спокоен”. “Вы слишком великодушны, Алексей Михайлович”. “Нет. Я серьезно. Бывают моменты и маленькие слова опрокидывают даже искусного акробата”. “Вы очень любезны. Лучше стали, но были красивее”. “О, не вспоминайте Пензу – я словно в кошмаре каком-то жил. Представлялся”. Вмешивается в разговор Ангарский. “А вот и Серафима Павловна”. Оборачиваюсь, в надежде увидеть малюсенькую блондинку. Но Господи! Выше меня ростом, а охватить вдвоем не охватишь. Лицо же приятное, почти глупое. Поговорили опять, выпили по второй и пошли в крохотную столовую. Чайничали. Ангарский разбивал Бенуа Чернышевским, извинялся в дерзостях. А мы не отвечали братейнику Луначарского. “Ну а теперь пора к Вячеславу Ивановичу Иванову. Я сначала ведь презнакомить Вас хочу с публикой”. Серафима Павловна не хочет: ей нечего там делать до открытия разговоров и декламаций. Я ее поддерживаю. Однако скоро отправляемся. Алексей Михайлович торгуется с извозчиком, и когда тот доволен 20 копейками, мы садимся. Едем в Таврический дворец, к Вячеславу Ивановичу. Алексей Михайлович старается сказать мне все. Как он скоро голодать будет по закрытию “Вопросов жизни”. Чуть не соблазнился заказом Синода, написать книгу сказок для детей в благоче-

<sup>14</sup> Dambergs V. Sarakstīšānās... Lpp. 68.

стивом духе, без коз и сорок. Говорит, что целый год то и делал, что знакомился со всеми знаменитостями, но ничего не писал. Зато всех знает, начиная с Горького и кончая Вячеславом Ивановичем. Говорит охотно, наивно и много. Намеками все и своими эпитетами без подлежащих и сказуемых. Наконец дворец. [...] Наперебой с Алексеем Михайловичем [Вяч. Иванов] выкрикивает - "латышский поэт Эглит, Виктор Иванович". А вот Поляков, а вот Аничков, потом Чулков Георгий, жена его и жена Мейерхольда, затем поэт – Городецкий. [...] А теперь, смотрите, входят Мережковский, Сомов Константин Андреевич и наш Ставрогин – черный, высокого роста, с шевелюрой до плеч – Николай Александрович Бердяев. Перезнакомились. Алексей Михайлович погнался за Городецким, называя того Бабой=рыбой и заставляя сейчас же на ухо Эглицу прочесть стихи Бабу=рыбу, Ярилу и др. Городецкий шепчет. Хвалит. Он просит рассказать о латышской мифологии. Я ему обещаю перевести зачатки нашего эпоса, прислать, "Viens gans pomira", "Kur palika vējši" и пр.<sup>15</sup> Потом Аничков, известный богач, хочет издать через две недели журнал "Об окраинных народах России", знакомится ближе со мной и просит доставлять ему ежемесячный обзор латышской литературы, т. е., если издание разрешат власти. Говорит много, но Аничков не поэт душой, скучно".<sup>16</sup>

Гостю-латышу в имени языческого божества Барыбы (порожденного поэтической фантазией С. Городецкого, потому последний и получил это прозвище от Ремизова<sup>17</sup>) слышатся два слова.

Любопытен сам факт общности интересов, что и послужило сближению латышского писателя с обитателями и гостями "башни". Для Эглитиса также актуально представление о высокой значимости фольклорного и обрядового материала, как и для большинства русских писателей и ученых, присутствовавших той ночью на "башне". Спустя год Эглитис напишет в письме к другу о возможной реализации задуманных планов (которые, к сожалению, осуществить не пришлось): "Ремизов объявил меня постоянным сотрудником некоего нового издания, в каждой тетради

<sup>15</sup> V. Eglīsa vēstules Marijai Eglītei (Stolbovai) 1902-1909.g. // RVLM. K2 Inv/nr. 46458.

<sup>16</sup> Цитируемое письмо Эглитиса к жене опубликовано в Vera Vāvere. Latviešu un krievu "Sudraba Laikmeta" rakstnieku kontakti 20.gs. sākumā // Latvijas zinātņu akadēmijas vēstis.A.-1997, 50, 4/5. Lpp.169-170.

<sup>17</sup> Об этом см.: Грачева А. М., Кузнецова О. А. Переписка В. И. Иванова и А. М. Ремизова // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., Наследие, 1996, с. 107.



которого я должен исписать страниц 15-ть своими соображениями о латышско-литовских мифах, соотнося их с современными типами и флорой. Посмотрим. Главный редактор – Вяч. Иванов. Издатель – какая-то богатая дама Гриневиц”.<sup>18</sup>

Тематизация “фольклорной идеи” в “Неотвратимых судьбах” напрямую связана с “мифотворцем Бубукой”, с притягательной для него за- таенной силой чужого мифологического сознания: “Бубука, как буйвол, напал на Калейса, – пусть порасскажет ему о латышских божествах, про которых, как он заявлял, считай, ни один человек в мире ничего еще не слыхивал. Калейс рассказывал, что бог у латышей – это живучий и бдительный отец в сером пальто со складками, в шапке, натянутой до шеи [...] с белой можжевелевой палочкой в руке. Он падает, как звезда, через крышу дома и – вот уже сидит в комнате, мудро посматривая и поглаживая белую бороду, пока люди в благоговении примолкли. Потом они приглашают бога отведать их хлеб с домашним сыром или медовое лакомство и на стол выставляют пиво в деревянной канне. Черные глаза русского мифотворца Бубуки разгорались, как у кота, странными красными всплшками. Он облизывал пухлые яркие губы и всей пядью ерошил волосы, которые, как кусты, торчали надо лбом, и смеялся странным грудным смехом да понукивал еще и еще рассказывать, ибо все-все захотелось узнать ему – чем боги занимаются тайком, а что делают открыто, не таясь. И Калейс, вглядываясь в этого малюсенького по росту странника, который сидел, оцетинившись, как лесной зверек, рассказывал далее про сыновей бога, про Солнце и его дочерей, играющих друг с дружкой”.<sup>19</sup>

“Пограничность” Ремизова: причастность его к салонно-модернистской элитарной культуре и одновременно к “низким” жанрам (народной демонологии), – одна из впечатляющих характеристик “широты” и многоликости Бубуки. Калейса поражает необъяснимая гротескность всего того, что связано с “мифотворцем”: революционно-бунтарское прошлое и “игрушечная” аксессуарность кабинета бывшего “политического преступника”;<sup>20</sup> “странность” супружеской пары, их оккультизм и мистика,

<sup>18</sup> Dambergs V. Sarakstīšanās... Lpp. 71.

<sup>19</sup> Eglīts V. Ntновēršamie likteņi. Romans. Rīga 1926. Lpp.14. Далее ссылки на это издание в тексте статьи.

<sup>20</sup> “На мгновение оставшись в зале один, Калейс оглядел стены, где вместо картин было нечто другое. По правде говоря, только на одной стене над письменным столом хозяина висела книжная полка, занавешанная темно-красной тканью, тут же стояли широкий обтянутый кожей диван и несколько кресел. Но

вследствие которых один из персонажей романа (Росбакс – К. Екабсонс) попадает в клинику для душевнобольных. А вместе с тем герой вдохновлен неподдельным интересом Бубуки к культуре и жизни латышей; в деревне Бубука неожиданно встречается с учителем приходской школы, в комнате которого полки заполнены книгами русских, немецких, французских и английских авторов, кроме того сельскому учителю принадлежал “лучший перевод Гамлета на латышский язык” (с. 203).

Оппозиция “свое-чужое” – центральная в диалогическом нарративе романа: контрастность характеров и отчуждение между героями, которое становится все более и более явным, основывается на разных ментальных основах. Калейс постигает, что русский менталитет сформирован “необъятными просторами”, а латышу чужда “широкость”, как и его краю – “обширность”, но свойственна “сконцентрированность” и “глубинность”.

За рамками же романа связи Ремизова и Эглитиса продолжают<sup>21</sup> в эмиграционный период жизни русского писателя их имена встречаются на страницах одних и тех же изданий русской периодики Латвии,<sup>22</sup> сохра-

то, что хранилось на письменном столе, Калейса совсем удивило: большую площадь стола занимал какой-то особенный кусок дерева, [...] вывезенный из Усть-Сысольска, и назывался расческой ведьмы. Вокруг [...] находилось бесконечное множество маленьких амулетов. [...] Бубука, войдя и увидя, Калейса, удивленно оглядывавшего предметы, стал каждый из них называть по именам. Наиболее любимым фетишем оказалась Кикимора, женоподобный, не стареющий злой домашний дух, которого Бубука выдавал за своего божка” (с. 18); о ремизовском музее игрушек см.: Грачева А. М. Алексей Ремизов и Пушкинский Дом (Статья первая). Судьба ремизовского “Музея игрушек” // Русская литература 1997. № 1, с. 185-215.

<sup>21</sup> См. публикацию писем В. Эглитиса к А. М. Ремизову в статье: Vāvere V., Sproģe L. Aleksejs Remizovs un latviešu rakstnieki ... Lpp.27, а также воспоминания: Rakstnieki par sevi: Viktora Eglīša autobiogrāfija // Ritums 1921. № 3, 4.

<sup>22</sup> В этой связи интересен выходивший в Латвии с 1926 по 1927 гг. иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни “Новая нива”, где в 1926 г., когда в свет выходит роман “Неотвратимые судьбы”, печатались В. Эглитис (в № 24 “Сфинкс. Символический этюд”) и А. М. Ремизов (в № 39 “С покойника. (Доисторическое)"); в № 24 опубликована статья В. Гадалина (см. Выданную ему Ремизовым грамоту Обезвельволпала в статье Спроге Л. А. Ремизов в Латвии: В. Дамбергс, В. Эглитс, В. Гусев, И. Павлов, В.Гадалин ... с. 162.) под заголовком “Несколько слов о латышской литературе (К 400-летию латышской печати)”, где приводится следующая характеристика: “Имеется у латышей довольно много и таких писателей, которые зорко следят за всемирной литературой и в

няется переписка, а памятные встречи превратятся в мемуарные и художественные сюжеты.

Роман В. Эглитиса – своеобразное зеркало, отражающее не только один из обликов ремизовского многообличья. Интересна сама модель восприятия художниками иной культуры панорамы русского “серебряного века”, тем более, что некоторые из них сами оказались вовлеченными в динамику его культуры.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

*В 6-ой главе романа “Бубуки в Вадакте” описывается ответный приезд супругов Бубуков в местечко Вадакте (т. е. визит Ремизовых в 1907 г. в Цесвайнскую волость). Здесь проявляются демонические черты супружеской пары. Ангелика Францевна – “огромная блондинка, с такими плечами и мускулами, которые можно увидеть только у силачей, с папиросой в ровных, сверкающих белизной зубах” (с. 16), “животное с элегантнейшими манерами” (с. 17) – оказывается ведьмой (латышская критика отметила параллель с романом Мережковского “Леонардо да Винчи” – (Bračš Augusts. V. Eglīts. Nenovēršamie likteņi // Ritums 1926. № 6. Lpp. 378) – хотя не исключены гоголевские ассоциации и реминисценция из “Огненного ангела” В. Брюсова.*

[...] Они вчетвером уселись на линейку и Калейс погнал лошадей крупной рысью. Хотя дорога была неровной и мостки расшатаны так, что лошади

результате этого в латышской литературе появилось декадентство, хотя латышские декаденты вскоре должны были отречься от этого направления. Виднейшим представителем декадентства у латышей является Виктор Эглит (1977) поэт, беллетрист и критик. Эглит крупнейшая величина в латышской литературе, как в критике, так и в художественных произведениях он является борцом за идеальную культурно-утонченную человеческую личность, за высшие цели и задачи в искусстве, за расширение культурного горизонта родного народа. [...] Латышское декадентство всецело зависело от русских декадентов и можно сказать составляло их отражение. Их учителями являлись Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов” (с. 477). Архив В. Эглитиса сохранился лишь частично: в 1944 г. в г. Добеле (Латвия) писатель был арестован органами НКВД по доносу; погиб Эглитис либо в рижской Центральной тюрьме, либо в одной из московских тюрем 20 апреля 1945 г. Реабилитирован в 1990 г.

рисковали сломать ноги, другого выхода не было, потому что под вечер задул северный ветер, и г. Бубука коченел в своем легоньком суконном смокинге. Время от времени дрожь пробирала и его супругу.[...] Ничего другого не оставалось, как только согреться остроумной беседой, шутками, смехом, который временами становился жутким, демоническим, и сухонький г. Бубука влетал в него, подобно какому-то потустороннему духу или лемуру.[...] Рассказ его был очень нелогичен и бессвязен, да у мифотворца была такая привычка разговаривать. Но расспрашивать ни о чем нельзя было.

– Эти северяне своеобразны. Не только монгольская раса, но и живущие там славяне. Скука ужасно длинной зимы отдаёт их под власть сатаны, потому что с сатаной, видите ли, всегда весело. С ангелами, напротив, скучно, если нет какого-нибудь занятия.

– Разве у вас не было достаточно керосина, чтобы читать и писать? – спросил Калейс.

– Читал я много. Но о чем будешь писать, если нет никаких стимулов? С той самой поры я и освоил всю колдовскую науку шаманов.

– А вы? – Росбакс подобострастно обратился к супруге Бубуки.

– Да все их ведьмачьи штучки! Хе, хе! – Даже на метле могу улететь мимо луны в Вальпургию, – усмехнулась она, резко обернувшись к нему.

– А на колоде нет? – смущенно спросил Росбакс.

– И на колоде. А вы бы хотели спрятаться и посмотреть? – спросила она у него.

– Что, удивлены? – воскликнул г. Бубука, заметив налившиеся кровью глаза Росбакса, – Она вас за нос не водит. Это вполне возможно. Потому что все возможно, о чем рассказывается в легендах. Уж можете мне поверить.

– Значит, вы г-жа Бубука, можете меня умчаты в самый ад? – Росбакс, который теперь был за кучера, пристально глядя ей в глаза, будто влюбляясь, спросил: “А небо не в вашей власти? Хе, хе!”

– А вы еще не были там? – спросила она, отвечая вопросом на вопрос, и услышав это, г.Бубука подпрыгнул так, что клацнул зубами.

– Да, я бывал, – задумавшись, Росбакс счастливо улыбался.

– Ну, как же – как это было? – расспрашивал Бубука.

– Я бы хотел навсегда там оставаться.

Он говорил полупшепотом, и смущенно.

[...] Ужин уже закончился и, пока мужчины наливали себе еще по стакану чая и взяли по яйцу, супруга Бубука копошилась в спальне за толстыми портьерами. Когда Калейс уже попрощался [...], г-жа Бубука вдруг воскликнула диким голосом: “Г.Росбакс, вы ведь сегодня домой не собираетесь. Вы там, на лугу, высказали мне одно желание”. У Росбакса волосы стали дыбом. Что она имела в виду?

– Идите, идите. Уже поздно! – г. Бубука, взяв его за руку, завел за портьеры. – А мы с Калейсом в карты поиграем.

Калейс, почуял недоброе и, усмехнувшись, тут же ушел.

А Росбакс увидел, что великанша натирала подмышки разными мазями.

– Вы оторопели, но ведь сами же хотели забраться в колоду и мчаться со мной в преисподнюю.

Он оглянулся, но колоды нигде не увидел.

– Где же она? – наконец вымолвил Росбакс.

– Вы не увидите так. Подойдите-ка сюда!

Он нерешительно приблизился к ней и вдруг ощутил какой-то резкий запах и странную прохладу на лбу от мази...

– Да как же вы полетите, не намазав подмышки! – она засмеялась и велела снять одежду, причем тут же сдернула с него сюртук. Полуживой, он делал то, что ему велели. И как только намазался, вдруг почувствовал, будто крылья выросли за плечами, на пояснице, на пятках – и дух захватило от неизведанного доселе веселья.

[...] Наконец, он действительно лежал в колоде, и ведьма, вскочив на нее верхом и пристукнув маленькой тросточкой, вылетела через окно, правда, пару раз зацепив за ставни.

Небо было полно звезд, и они казались так близко, что их можно было сорвать, и сверкали они, как гроздь винограда; луна стала такой большой и светлой, что, как днем, можно было бы книгу читать; земля внизу распласталась серой, туманной, далекой – и делалось страшно. Все отдаленные горы как бы приподнялись и сомкнулись внизу вокруг долины. Тогда он стал спускаться и – о чудо! – неужели это были те же самые луга с редкими кустами, стогами и петляющей посередине рекой, откуда они недавно приехали? [...] Пораженный, он прошептал: “Ну, слава Богу, все возвращается!” Тогда она внезапно вскрикнула: “Нет!” – и они неожиданно очутились в такой глухой и непроницаемой тьме, что Росбакс явно ощутил, что он уже умер и похоронен. “Теперь мы проносимся под землей”, – поясняла она, как добросовестный гид, которому за работу заплачено: “Вон там – скелеты светятся фосфорическим блеском. Это все

великие грешники древности и средневековья, о которых рассказывается в дантовском аду”.

Не успел Росбакс оглянуться, как зашипела горящая смола и через пышущий жаром свод они вверглись в новое пространство. Оно имело форму котла и кишело людьми, примерно, как на пляже, только здесь не нужны были купальные костюмы, и водный резервуар был среди скал, что встали со всех сторон, как медные стены; небо тоже было, словно медная крыша, и, проносясь под ним, их обдало таким жаром, что тело покрылось потом. Росбакс чувствовал смертельную усталость. Он хотел домой или хотя бы остаться здесь, только бы больше не проваливаться в преисподнюю. Кто мог поручиться, что там не появится, как в пьесах Райниса, целый легион чертей с раскаленными вилами, которыми бы его, беднягу, пронзили. Он боялся только, согласится ли ведьма остановиться и повернуть обратно, не спустившись до самого дна преисподней? Он взмолился, что больше уж совсем невмочь, и вдруг на самом деле неожиданно выпал из колоды, только оказался не в Даугаве или еще черт-те где, а в том же самом зале на диване: силач лежал в обмороке и, когда очнулся, в ушах еще звенело.

– Друг мой, что с вами? – сторбившись над ним, вопрошал Бубука. – Такое путешествие вовсе не из легких. Тут пужна многолетняя практика. А вы сразу захотели до самого конца, вы думаете, конец так уж легко достигается? Конца, друг мой, ни у чего нет. Все бесконечно и на небе, и в преисподней.

Росбакс еще не отвечал, потому что в ушах невыносимо звенело и голова была как в тисках.

– Где супруга ваша? – жалобным голосом спросил Росбакс.

– Бог с ней: теперь лучше совсем забыть о ней и ничего не спрашивать. Ваша жизнь была в опасности.

Голова у Росбакса и в самом деле была как-будто налита свинцом и он прилеп с мыслью: “Будь, что будет. Теперь все равно”.

– Ничего, все будет хорошо! – Бубука хлопотал возле него, прикладывая к сердцу ветошку, смоченную уксусом.

Приоткрыв веки, Росбакс увидел большие черные глаза Бубуки, его красные пухлые губы вампира. “Не сам ли это сатана?” – подумал Росбакс, и показалось ему, что вот-вот он умрет. [...]